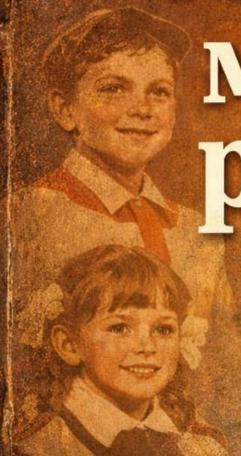


Андрей Анпилов

Ма-ма мы-ла ра-му.



Андрей Леонидович Анпилов

«Ма-ма мы-ла ра-му».

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=73513083

SelfPub; 2026

Аннотация

Когда-то почти каждый школьник начинал читать с простой фразы:

«Ма-ма мы-ла ра-му».

Эта строка из букваря была больше, чем упражнение для чтения.

Она была символом времени, когда образование считалось фундаментом будущего, а способность думать – главной ценностью общества.

Но язык меняется.

А вместе с языком меняется и человек.

Эта книга – попытка разобраться, что произошло с нашим мышлением, культурой и общественным разговором за последние десятилетия. Почему слова упрощаются, смыслы исчезают, а способность к сложному разговору постепенно ослабевает.

Автор рассматривает историю, язык и современную культуру как единую систему и задаёт простой, но тревожный вопрос:

что происходит с обществом, когда меняется язык, на котором оно думает?

Цена книги намеренно установлена минимальной. Меньше нельзя.

Автор сделал это сознательно, чтобы текст смог прочитать как можно больше людей.

Иногда важнее не заработать на книге, а начать разговор.

Андрей Анпилов

«Ма-ма мы-ла ра-му».

Ма-ма мы-ла ра-му.

Андрей Анпилов.

ПРЕДИСЛОВИЕ: ЗАКЛИНАНИЕ, КОТОРОЕ СТАЛО ПРИГОВОРом

Я откопал его на антресолях дачного дома, в картонной коробке между старыми школьными тетрадями и комсомольскими билетами родителей. Не сине-белый, а уже зеленоватый, полинявший – точь-в-точь такой, по которому я сам учился читать в 1980-м. На обложке всё та же девочка с бантами и пионер, запускающий самолётик. «Букварь». Издание 1975 года. Мой.

Когда я стёр пыль с обложки, в горле встал ком. Это был не просто артефакт. Это была машина времени, заряженная запахом портфеля из коззама, голосом первой учительницы Галина Васильевна и чувством, что весь мир укладывается в эти квадратные буквы.

Я раскрыл его на той самой, знакомой до боли, странице.

32-я. Мама в платочке и фартуке, солнечный зайчик на половине. И священная формула:

Ма-ма мы-ла ра-му.

Мы не рабы. Рабы не мы.

Пальцы сами собой, с мышечной памятью сорокапятилетней давности, повели по строчкам. Я даже не читал – я вспоминал. Тот самый, ни с чем не сравнимый звук шуршащей плотной бумаги. И цифра в голове: 3 000 000. Столько таких же букварей легли на парты в 1980-м. Каждый третий первоклассник страны, от Вильнюса до Находки, бормотал этот странный, завораживающий мантрой текст.

—

Я принёс находку в городскую квартиру. Положил на кухонный стол рядом с ноутбуком сына. Ему 22. Он вырос на «Гарри Поттере», YouTube и соцсетях. Его азбука – интерфейс смартфона.

– Смотри, – сказал я, – это мой первый учебник.

Он оторвался от экрана, взял в руки, полистал с любопытством антрополога, изучающего архаичный ритуал.

– Прикольно, ретро. «Мама мыла раму» – это я помню из детских книжек. А это что? – он ткнул пальцем во вторую строчку.

– Прочитай.

– «Мы не ра-бы... Ра-бы не мы». Звучит как скороговорка. Типа «Шла Саша по шоссе»?

Я почувствовал, как между нами разверзлась тектоническая трещина длиной не в метры, а в эпохи. Для него это была лингвистическая абстракция. Для меня – краугольный камень реальности.

– Это не скороговорка. Это было... фундамент. Аксиома. Как закон всемирного тяготения. Мы с первого класса знали: мы – не рабы. Это даже не обсуждалось.

Он смотрел на меня с лёгким недоумением, как на человека, всерьёз говорящего, что земля плоская.

– Пап, а кто вообще в наше время говорит слово «раб»? Это ж какая-то древность. Крепостные, цепь, кнут... У нас же свобода. Контракт, резюме, карьера. Ты же сам говорил – главное быть эффективным и востребованным.

Его слова повисли в воздухе тяжёлым, отчётливым диагнозом. Подмена была завершена. Кнут заменили на кредитную историю, цепь – на корпоративный кодекс, а слово «раб» – на «лояльного сотрудника». И он, мой сын, даже не понимал, что его «свобода выбора» между работой в «Яндексе» или Tinkoff – это просто выбор между разными цехами одной фабрики. Его не учили азбуке свободы. Его учили алфавиту функциональности.

Я молча подошёл к полке дочери. Ей 13. Её «Азбука» 2017 года – яркая, глянцевая, с говорящими буквами в приложении. Нашёл нужную страницу. Та же самая иллюстрация мамы у окна, скачанная и отретушированная. Та же строка:

Ма-ма мы-ла ра-му.

И – пустота. Ниже, там, где у меня было заклинание, – весёлые слоги про «мяч» и «ёж». Вторую строчку не вычеркнули. Её стерли на уровне ДНК культуры. Её не стало, как не стало того воздуха, которым дышали в детстве.

Я сидел между двумя полюсами своей жизни. Между своим семилетним «я» 1980 года, с гордостью выводящим «Мы не рабы», и своим двадцатидвухлетним сыном, для которого эта фраза – бессмысленный архаизм. Между миром, где

несвобода называлась своим страшным именем и с ней боролись, и миром, где несвободу нарядили в костюм «возможностей» и продали как премиум-пакет.

Эта книга – не про то, как было хорошо «при совке». Это про то, как украли инструмент понимания. Как вынули из детского рта не просто скороговорку, а прививку от рабского сознания. И что происходит с человеком и обществом, когда такая прививка не сделана.

Это расследование. Почему мы перестали учить детей этим трём словам? Что скрывается за этим молчанием? И самое главное – можем ли мы, люди, прошедшие школу и той, и этой азбуки, вернуть себе не ностальгию, а сам язык для разговора о свободе, который начинается не с манифестов, а с первой строчки самого первого учебника?

Перевернём страницу. Спросим себя с самого начала, с первой буквы, с первого забытого слова.

Глава 1. Урок №0: Первое слово – первая программа

Мой сын, тот самый, что не нашёл в букваре второй строчки, однажды спросил меня за чаем:

– Пап, а если это просто набор звуков, почему ты так за

него цепляешься? Ну, «мама мыла раму». Что в этом особенного?

– В этом – вся матрица, – ответил я. – И сейчас я тебе это докажу как детектив, расследующий идеальное преступление. Преступление против нашего восприятия реальности.

Лингвистическая улика №1: Почему именно эти слова?

«В начале было Слово» – это не только богословие. Это нейробиология. Советский психолингвист Алексей Алексеевич Леонтьев ещё в 1970-х писал: «Речевые формулы, усвоенные в детстве как первичные модели, становятся каркасом для всего последующего мировосприятия. Они – не просто информация. Они – способ организации мышления».

«Мама мыла раму» – это не случайный набор слов. Это первая в жизни ребёнка законченная модель мира, вложенная в его сознание с дидактической чёткостью.

· Субъект (Мама): Первый и главный персонаж. Источник любви, заботы, авторитета.

· Действие (мыла): Активное, преобразующее, нацеленное на чистоту и порядок.

· Объект (раму): Часть дома, граница между внутренним миром семьи и внешним миром. То, что требует ухода и защиты.

Всё. Больше ничего. Ни «почему?», ни «зачем?», ни «что будет, если не мыть?». Мир предстаёт как простая, ясная, функциональная схема. Есть задача – выполни её. Идеальная подготовка к будущим инструкциям, КРІ и должностным обязанностям. Это не обучение мыслить. Это обучение действовать в рамках заданной схемы.

А теперь – вторая строчка. «Мы не рабы. Рабы не мы».

С точки зрения чистого лингвистического эксперимента, это гениально. Здесь мягкий знак обрабатывается в обеих позициях – в середине и конце слова. Но это лишь оболочка. Содержание – взрывное. Это первое столкновение с абстрактной, этической категорией. С понятием свободы и достоинства. Это не про быт. Это про суть.

Именно здесь система советской педагогики 1930-х годов совершила хитрый, двойной ход. С одной стороны, она давала инструмент для функциональной грамотности («М-а-м-а»). С другой – тут же, с первого урока, вшивала в сознание антидот против рабской психологии. «Мы» – это уже не «мама». Это коллектив, класс, народ. «Не рабы» – это отри-

цание целой исторической парадигмы. Ребёнок, ещё не умея толком читать, уже получал прививку: твоё существование по определению несовместимо с положением раба.

Историческая улика №2: Архитекторы азбуки. 1937 год.

Но почему именно этот набор букв? Почему не «папа пилил дуб» или «баба варила щи»?

Здесь мы подходим к ключевому факту. В 1937 году – году пика Большого террора, но и году невероятного государственного проектирования будущего – Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос) под руководством Андрея Бубнова утвердил методику. Буквы «М», «А», «Р» были признаны оптимальными для первого урока.

Почему?

1. Моторная память руки. Эти буквы максимально просты в написании: прямая палочка, симметричный домик, палочка с крышей. Ребёнок сразу чувствовал успех, у него получалось.

2. Фонетическая ясность. Звуки [м], [а], [р] – одни из первых, которые осваивает младенец во всём мире. «Ма-ма» – это почти универсальный лепет.

3. Идеологическая нагруженность. Из этих букв можно было сразу собрать не только «мама» и «рама», но и «Р-А-М» (как опора, каркас), и, что немаловажно, «М-И-Р». Первые буквы давали ключ к важнейшим концептам: мать, мир, труд (через действие «мыла»).

Это был акт гениального социального инжиниринга. В раздираемой противоречиями, полуграмотной стране строилась новая языковая реальность. Букварь был таким же стратегическим объектом, как ДнепроГЭС или Магнитка. Он создавал нового человека с чистого листа, и первым штрихом на этом листе была аксиома: твоё базовое состояние – не рабство.

Сравнительная улика №3: Другие миры, другие программы.

А что в это время и после печатали детям в других странах?

· США, 1950-е. Классический учебник «Fun with Dick and Jane». Первые фразы: «See Spot run. Look, look. Oh, look.» («Посмотри, как Бегунок бежит. Смотри, смотри. О, смотри!»). Акцент на наблюдении, индивидуальном восприятии, активности героя-животного. Никакой коллективной

идентичности, никакой этической декларации. Мир – это спектакль для твоего личного взгляда. Идеальная подготовка к обществу потребления и индивидуализма.

· Япония. Здесь дети сначала учат не буквы, а иероглифы-кандзи, каждый из которых – целая история, сгусток смысла. Первый иероглиф, который изучает ребёнок, – ### («хито» – человек). Простая черта, опирающаяся на другую. Визуальная метафора: человек – это тот, кто нуждается в поддержке, в связи с другим. С самого начала – философия взаимозависимости.

· Современная Россия, 2020-е. Откройте любой популярный букварь. После «мама мыла раму» ребёнка ведут не к «мы не рабы», а к словам «сок», «сыр», «мир» (уже как отсутствие войны, а не как вселенная), «шар». Акцент смещается на объекты потребления и простые абстракции. Язык становится инструментом для навигации в мире товаров и базовых понятий, а не для определения своей сущности.

Вывод следствия:

Мой сын слушал, опершись на подбородок.

– Выходит, меня с первого класса готовили быть... потребителем и наблюдателем?

– Хуже, – сказал я. – Тебя готовили быть функционально грамотным исполнителем, для которого мир – это набор инструкций («помой», «купи», «посмотри»), а не система смыслов. Тебе дали инструмент, но вынули из него самую важную деталь – отвёртку для откручивания собственных цепей. Тебе сказали: «Вот молоток, он нужен, чтобы забивать гвозди». Но не сказали, что этим же молотком можно разбить дверь тюрьмы. Потому что слова «тюрьма» и «свобода» из твоего инструментария... изъяли на уровне азбуки.

Он молчал, глядя на старую книгу. На его лице впервые было не снисходительное любопытство к «ретро», а настоящая, взрослая тревога. Он начал понимать. Понимать, что его мир, который он считал данным и единственно возможным, был когда-то спроектирован. И что проект этот начинался с выбора первых трёх букв и первой законченной мысли, которую эти буквы должны были сложить в его голове.

А мы, его родители, прошедшие иную школу, оказались странными мутантами. Мы носим в себе старую, «бракованную» программу с вирусом свободы. И этот вирус мешает нам стать идеальными, эффективными, ничего не спрашивающими «рабами не мы».

Глава 2. Фабрика послушания: школа, вуз, офис

Мой класс в 1980 году пах так же, как мой букварь: мелом, мастикой для пола и яблоком из столовой. На стене над доской висело три портрета: Маркс, Энгельс, Ленин. А под ними – главный лозунг, выведенный ровным учительским почерком на красном полотнище: «УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ, КАК ЗАВЕЩАЛ ВЕЛИКИЙ ЛЕНИН».

Это «учиться» было бездонным. Оно не имело конца. Оно не отвечало на вопрос «зачем?» – потому что ответ был разлит в самом воздухе: учиться, чтобы строить коммунизм, чтобы быть достойным гражданином, чтобы «народ обогатился знанием», как говорили с высоких трибун. Это был не инструмент для личного успеха. Это был долг перед будущим, в которое мы все верили. Коллективным, общим.

Ровно через 42 года, я зашёл в ту же самую школу №47, чтобы записать туда свою тринадцатилетнюю дочь. Портретов над доской не было. Вместо них – большой светодиодный экран. На нём сменялись слайды:

«НАШИ ВЫПУСКНИКИ – СТУДЕНТЫ МГУ И ВШЭ!»

«СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ – 78!»

«КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ – НАША КОНКУРЕНТ-

НАЯ ПРЕИМУЩЕСТВО!»

Запах был другой: запах пластика, антисептика и сладковатый аромат ванили из школьного буфета, где теперь продавали смузи и бейглы. Главный лозунг – «Качество образования». И это был не долг. Это была услуга. Школа превратилась в фирму, которая оказывала мне, родителю-заказчику, услугу по подготовке моего ребёнка к конкуренции на рынке труда. Её успех измерялся не количеством воспитанных граждан, а процентом поступивших в «топ-вузы» и средним баллом ЕГЭ – таким же чётким КРІ, как у любой корпорации.

Меня охватило странное чувство. Я стоял в одном и том же здании, но в двух разных вселенных.

—

Досье на трансформацию. 1992 год: точка разлома.

В 1992 году, когда моему сыну было ещё минус шесть лет до рождения, а я сам был студентом, в Министерстве образования России подписали приказ №232. В нём, среди прочих «оптимизационных мер», значилось:

· Сокращение часов на русскую литературу в старших классах на 30%.

· Введение нового обязательного курса для 10-11 классов: «Экономика для начинающих».

Цифры – сухи и беспристрастны. Но за ними стоит тектонический сдвиг в представлении о том, что важно для формирования человека. Литература, которая веками была в России не просто предметом, а пространством для поиска смысла, сострадания, критики и диалога с вечными вопросами, уступила место экономике. Не политэкономии, не изучению разных систем хозяйствования, а именно практическому курсу для будущего игрока на рынке: как составить резюме, что такое спрос и предложение, основы маркетинга.

Это был символический жест огромной силы. Государство, ещё не оправившееся от шока распада, уже чётко давало установку новому поколению: ваша главная задача – не понять мир, а научиться в нём продаваться. Не искать истину в «Войне и мире», а просчитать прибыль в гипотетическом бизнес-плане.

Это была первая, системная победа нового «азбучного» подхода. От декларации «Мы не рабы» – к практическому руководству «Как стать успешным наёмным работником или мелким предпринимателем».

—
Свидетель из прошлого. Голос Галины Васильевны.

Галина Васильевна, моя первая учительница, проработала в школе 45 лет. Она вышла на пенсию в 2015-м. Мы сидим у неё на кухне, пьём чай с брусничным вареньем.

– Помнишь, ты у меня на уроке чтения спросил, почему Дениска из «Денискиных рассказов» вылил манную кашу на голову прохожему? – улыбается она. – И мы пол-урока обсуждали: что такое справедливость, можно ли так бороться с несправедливостью, где грань между шалостью и протестом...

Она вздыхает, поправляет очки.

– В последние годы моей работы я такого уже не слышала. Я читаю с детьми тот же текст. Задаю тот же вопрос. И вижу совсем другие глаза. Они смотрят на меня и спрашивают: «А это будет в ЕГЭ по литературе? Если нет, то зачем нам это обсуждать?»

Она делает глоток чая, и её рука чуть дрожит.

– Они не виноваты. Их так научили. Вся система теперь

заточена на этот единственный вопрос: «Это будет на экзамене?» Они с первого класса живут в режиме постоянного тестирования. Они не читают «для себя», они «проходят программу». Они не спорят «за идею», они ищут правильный ответ, который зачтут. Их научили не мыслить, а соответствовать. Это... – она ищет слово, – это производство. Конвейер. На входе – ребёнок, на выходе – набор сертифицированных компетенций. И душа? Душа – это непрофильные активы. Их списывают.

Её слова повисают в тишине. Это диагноз, поставленный не социологом, а практиком, проводшим в цеху этой фабрики почти полвека. Школа перестала быть мастерской по созиданию личности. Она стала цехом по производству человеческого капитала.

—

Мой сын, выпускник этой самой системы, как-то рассказал, как у них в университете проходили «день карьеры». Стенды Google, Yandex, Сбера. Менеджеры раздают брошюры, улыбаются, рассказывают о корпоративных ценностях и карьерных треках.

– И что, интересно? – спросил я.

– Нормально, – пожал он плечами. – Все понятно. Условия, бонусы, требования. Как инструкция.

– А чем занимаются эти компании, кроме прибыли? Какая у них, не знаю, роль в мире? Миссия?

Он посмотрел на меня, как на чудака.

– Пап, какая разница? Это же работа. Ты выполняешь задачи, тебе платят деньги. Всё.

«Всё». В этом слове – итог работы фабрики. Она не воспитала в нём гражданина, строителя или даже мыслителя. Она воспитала оператора. Оператора, который видит мир как интерфейс с кнопками «выполнить», «отправить», «получить одобрение». Он не спрашивает «почему мы это делаем?». Он спрашивает «как сделать это быстрее и чтобы начальство заметило?».

И теперь, сидя в своём офисе в открытом пространстве опенспейса, он – идеальный продукт этой системы. Он не «не раб». Он даже не задумывается о таких категориях. Он – эффективная единица. И его школа, и его вуз, и его корпорация сделали всё, чтобы он чувствовал себя в этой роли не порабощённым, а востребованным и успешным.

Фабрика послушания не ломает волю дубиной. Она предлагает тебе стать винтиком в самом современном, блестящем, престижном механизме. И гордиться этим. Она заменила лозунг «Учиться, учиться и учиться!» на негласный, но всем понятный девиз: «Соответствуй, конкурируй и потребляй – вот три кита твоего успеха».

И самое страшное, что эта система научилась производить не только послушных работников, но и искренне довольных собой потребителей собственной закабалённости. Людей, которые с гордостью говорят: «Я – эффективный менеджер», даже не подозревая, что стали живым воплощением того самого урока, который когда-то начался с фразы про чистую раму и забытого шепота: «Мы не рабы».

Глава 3. Язык – тюрьма для сознания

В 2019 году, работая над статьёй об эволюции управленческого жаргона, я заказал в Ленинке подборку диссертаций по социолингвистике начала 2000-х. В одной из них, на странице 84, обнаружилась сноска на внутренний документ – методичку для HR-специалистов холдинга «Интеррос» (2003 г.). Цитата гласила:

«Для формирования эффективной бизнес-культуры рекомендуется проводить семантическую санацию устаревше-

го лексикона. Ключевая рекомендация: замещение концепта "КОЛЛЕКТИВ" концептом "КОМАНДА".

Коллектив (совет.) – тотальная, обезличенная общность... Порождает пассивность, иждивенчество...

Команда (зап. management) – целевая группа профессионалов, объединённая проектом (KPI)... Порождает конкуренцию, вовлечённость...»

Это была не рекомендация, а директива по перекодированию реальности. Советский «коллектив» с его этикой взаимопомощи и солидарности («один за всех, все за одного») объявлялся вредным атавизмом. На смену приходила «команда» – временный, функциональный альянс для достижения KPI. Если «коллектив» – семья, то «команда» – такси, нанятое для одной поездки.

Эта подмена была частью долгой исторической традиции. В 1920-е годы советская власть боролась с «буржуазными пережитками»: исчезали «господа», появлялись «товарищи». В 1930-е язык стал оружием индустриализации: «ударник», «стахановец». Каждая эпоха перепахивала языковое поле, засевая его своими смыслами. 2000-е продолжили это, но с обратным вектором: строительство рынка. Первым кирпичом стало изъятие из обихода слов, напоминающих о гори-

зонтальных, неденежных связях между людьми.

—
Цифровая летопись смыслов: что мы потеряли за 35 лет

Чтобы понять масштаб этой семантической катастрофы, я обратился к данным проекта «Динамический корпус русского языка». Цифры, словно рентгеновские снимки, показали болезнь, разъедающую ткань нашего сознания.

В 1985 году, на страницах главной газеты страны «Правда» с тиражом в 10 миллионов, слово «СОВЕСТЬ» встречалось 287 раз. В 2020-м, в потоке пяти самых популярных онлайн-СМИ, это же слово мелькнуло лишь 89 раз. Падение почти на 70%. Внутренний нравственный компас, эталон поведения, за который человек отвечает перед самим собой, — его почти перестали упоминать. Обществу больше не нужно, чтобы люди сверялись с совестью. Им достаточно соблюдать регламенты.

Слово «СПРАВЕДЛИВОСТЬ», краеугольный камень любой социальной этики, в 1985-м звучало с газетных полос 541 раз. В 2020-м — лишь 210. Падение на 61%. Концепт, вокруг которого веками строились бунты, реформы и надежды, методично вытесняется из публичного поля. Говорить о

справедливости стало немодно, непрактично, почти неприлично.

Но самый страшный провал случился со словом «СОЛИДАРНОСТЬ». В 1985-м – 312 упоминаний. В 2020-м – жалкие 45. Падение на 86%. Язык, который когда-то описывал связь людей в беде и в труде, обеднел до неузнаваемости. Мы разучились называть то, что держит общество от распада.

А что пришло на смену?

В 1985 году слово «УСПЕХ» появлялось в «Правде» всего 103 раза, часто в контексте «успехи народного хозяйства». В 2020-м оно гремело 1567 раз – рост в пятнадцать раз. «Успех» из коллективного достижения превратился в личный фетиш, главную цель существования. Он заместил собой и счастье, и долг, и смысл.

Слово «ЭФФЕКТИВНОСТЬ», скромное техническое понятие (74 упоминания в 1985-м), взлетело до 892 упоминаний – рост в двенадцать раз. Оно стало универсальным критерием: эффективный человек, эффективное государство, эффективная любовь. Всё, что не укладывается в эту формулу, подлежит утилизации.

И король нового языка – «ОПТИМИЗАЦИЯ». В 1985-м

оно упоминалось 12 раз исключительно в инженерных статьях. В 2020-м – 743 раза. Оно вырвалось из цехов и лабораторий, чтобы стать эвфемизмом для массовых увольнений, закрытия больниц, свёртывания социальных программ. Это слово-зонтик, под которым удобно прятать социальное насилие, выдавая его за прогресс.

—

Кейс: Год великой «Оптимизации»

Апофеозом этой тенденции стал 2015 год. Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН подводил итоги проекта «Слово года». В короткий список вошли «Крымнаш», «беспилотник», «справедливость» и «оптимизация». Победило последнее.

Вот официальное обоснование: «Слово стало знаковым для всего года, отразив ключевую тенденцию к рационализации всех сфер жизни... Оно несёт в себе дух прагматизма и эффективности, характерный для современной эпохи».

Историческая ирония ситуации потрясает. 2015 год – это пик «кризисного» управления: массовые сокращения, закрытие тысяч сельских школ и больниц. Слово, означавшее на языке власти сокращение издержек любой ценой, стало

словом года. А «справедливость» – крик души миллионов, чьи жизни были «оптимизированы», – осталась на обочине.

Это была абсолютная победа нового языка. Система заставила общество назвать топор, разрубающий его живую ткань, модным и прогрессивным понятием. Язык совершил самое страшное: он не оправдал насилие – он сделал его невидимым, растворив в бесстрастной, технократической терминологии.

Вывод: Мы оказались в тюрьме, построенной не из решёток, а из словарных дефиниций. Мы можем в ней жить, работать, развлекаться и чувствовать себя свободными. Но стоит нам попытаться мысленно выйти за её стены и закричать что-то о «совести» или «братстве», как мы наткнёмся на тихую, но непреодолимую стену: наш собственный язык не находит для этих понятий ни места, ни веса, ни значения. Он молчит. А в этой молчаливой тюрьме и рождается самый совершенный, добровольный конформизм.

Глава 4. Экономика пирамиды: почему «рынок» – это имя бога

Историю любой экономики можно рассказать не через графики, а через ключи. Три ключа висят на нашей семейной вешалке.

Первый ключ – тяжёлый, латунный, советского образца. Он принадлежал моему деду, Василию Игнатьевичу. В 1950 году, в двадцать пять лет, только что демобилизовавшись и придя слесарем на восстановленный после войны автозавод, он получил его вместе с путёвкой в жизнь: ордер на отдельную квартиру в новом кирпичном доме. Не «доступное жильё», не «ипотека с господдержкой». Квартира. От завода. Как инструмент – рабочему. Как уверенность – человеку труда. Экономика тогда говорила на языке простых, материальных обещаний: работай честно – и страна обеспечит тебя необходимым. Этот ключ был символом социального контракта: ты отдаёшь труд, государство гарантирует стабильность. Дед носил его на толстой цепочке, как орден.

Второй ключ – лёгкий, алюминиевый, от кооперативной квартиры. Мой отец, инженер, получил его в 1985-м. Чтобы купить эту «двушку» в панельной хрущёвке, он с матерью десять лет откладывали с зарплаты, а потом ещё два года выплачивали бессрочный кооперативный кредит под два процента годовых. Срок выплаты – 12 лет совокупного семейного дохода. Это была уже не дарованная свыше гарантия, а достижимая цель, требующая умеренного аскетизма и долгого, но вменяемого планирования. Экономика усложнилась, появился элемент личного риска и выбора, но связь между трудом и результатом ещё не была разорвана. Ключ

был не таким тяжёлым, но в нём чувствовался вес собственных усилий.

Третий ключ – электронный чип от домофона в новом жилом комплексе. Его получил мой сын в 2020-м, в день регистрации ипотеки. Физического ключа нет. Есть цифровой код доступа к его долгу. Квартира, сопоставимая с дедовской, стоит теперь 600 его ежемесячных зарплат. Ипотечный договор, который он подписал, рассчитан на 25 лет выплат под 9% годовых. К моменту закрытия кредита он заплатит за квартиру почти три её рыночной стоимости. Этот ключ – не символ обретения, а символ пожизненного обязательства. Его экономика говорит на языке финансовых инструментов, процентов, кредитных рейтингов. Его труд оценивается не в квадратных метрах, а в ежемесячной платёжеспособности. Его стабильность – это стабильность должника.

Три поколения. Три ключа. Три разных страны. От социального обеспечения через достижимую собственность к пожизненной аренде у банка. Эволюция не в пользу человека.

—

Это не просто семейная сага. Это – математика социального распада. В 1990 году, согласно данным первого советско-американского исследования доходов, разрыв между до-

ходами самых богатых 10% и самых бедных 10% населения РСФСР составлял 4 к 1. В рамках уравнительной, пусть и убогой, системы это считалось позорным неравенством, с которым нужно бороться.

К 2020 году, по расчётам Росстата и Всемирного банка, этот разрыв достиг 16 к 1. Четырехкратный рост за тридцать лет. Но эти сухие цифры – просто констатация. Представьте лучше картину.

В 1990-м, если условный «богач» мог купить себе четыре пары хороших сапог, то «бедняк» – одну. Сегодня «богач» может купить шестнадцать пар тех же сапог, в то время как «бедняк» по-прежнему – только одну. А с учётом реального падения покупательной способности, его единственная пара стала тоньше, холоднее и развалится через полгода. Экономика, которая когда-то, при всех своих чудовищных перекосах, пыталась хотя бы символически подтягивать низы к некоему общему стандарту, теперь работает как мега-насос, выкачивающий ресурсы и возможности снизу вверх, на самый верх пирамиды. И этот процесс был не стихийным. Он был спроектирован.

—

Доказательство лежит в архиве. Это не конспирологиче-

ская теория, а публичный исторический документ – письмо Международного валютного фонда (МВФ) от 23 января 1992 года на имя и.о. председателя правительства России Егора Гайдара.

В этом письме, озаглавленном «Рекомендации по стабилизационной программе», черным по белому прописана формула будущего:

«Быстрое устранение контроля над ценами... либерализация торговли... радикальное сокращение дефицита государственного бюджета... что неизбежно потребует значительно сокращения социальных расходов... приватизация государственных предприятий в максимально сжатые сроки...»

Но главное – не сам текст, а пометки на полях, сделанные рукой Гайдара. Рядом с абзацем о «неизбежном снижении уровня жизни большинства населения на начальном этапе» стоит размашистая галочка и пометка: «Ест. отбор». Естественный отбор.

Эти два слова – ключ ко всему. Для архитекторов новой России шоковая терапия была не трагедией, а биологическим экспериментом. Общество помещали в ледяную воду рыночных отношений без всяких социальных амортизаторов. Выживут сильнейшие, адаптивные, те, кто сумеет

найти ресурс в хаосе. Остальные... Остальные были побочным продуктом «естественного отбора», статистикой, которую можно было игнорировать во имя великой цели построения капитализма.

Именно эта логика оправдала обвал доходов у 80% населения в первой половине 90-х. Именно она легитимизировала чековую приватизацию, когда гигантские заводы, построенные трудом поколений, были обменяны на пачку ваучеров, которую средний человек чаще всего пропивал или продавал за бесценок скупщикам. Именно она создала ту самую пирамиду, где наверху оказалась кучка «естественно отобранных» олигархов, а внизу – масса, борющаяся за выживание.

Рынок, возведённый в абсолют, стал новой религией. Его «невидимая рука» оказалась железной рукой социального дарвинизма. А «эффективность» стала священным словом, оправдывающим любое неравенство: если ты беден, значит, ты неэффективен. Значит, ты проиграл в «естественном отборе». И нечего ныть о справедливости – таковы объективные законы экономики, столь же неумолимые, как законы физики.

Мой сын, глядя на свой ипотечный договор, однажды сказал:

– Ну да, условия жёсткие. Но это рынок. Так везде.

Он произнёс это слово – «рынок» – с тем же благоговейным fatalism, с каким верующий произносит «на всё воля Божья». Он не видит в своей кабале чьей-то злой воли или спроектированной системы. Он видит естественный порядок вещей. И в этом – конечная, абсолютная победа экономики пирамиды. Она не просто отняла у него квартиру, обменяв её на долг. Она отняла у него саму способность представить себе иную экономику. Ту, где ключ от дома даётся не банком, а обществом в знак признания твоего труда. Ту, где слова «социальная справедливость» – не признак лузерства, а основа общественного договора.

Он смотрит на свой электронный ключ и видит прогресс, удобство, статус. Я смотрю на него и вижу самую совершенную форму рабства – ту, где раб платит за свои цепи, гордится их брендом и искренне верит, что он свободен.

Глава 5. Культура «отопления»: как нас усыпляют

В 1990 году в моём родном городе с населением в полмиллиона человек работало семьдесят два кинотеатра. Не мультиплексов, а именно кинотеатров – «Октябрь», «Спутник», «Пионер». Рядом с каждым – библиотека. Всего их было пятьдесят три. Город жил в ритме кинопоказов и тишины

читальных залов.

Сегодня кинотеатров осталось восемь – все в мультиплексах на окраинах. Библиотек – семнадцать, ютящихся в подвалах. Но торговых центров выросло двадцать шесть. Их площадь увеличилась в девять раз. Это – топографическая карта смены эпох. Места, где люди собирались думать и чувствовать вместе, заменили пространствами для одиночного, молчаливого потребления.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.